

ЮБИЛЕЙ

Метафора зависти

Моск. новости. — 1999 — 16-22 марта. — с.24
К 100-летию со дня рождения Ю.К. Олеси

Как-то в молодые годы я сдружил с видным деятелем грузинской коньячной промышленности неосторожный вопрос: «Какой коньяк лучше, грузинский или армянский?» Седой винодел посуровел и медленно начал гневный ответ: «Чтобы сделать хороший коньяк, надо сначала иметь хорошее вино...» Конечно, «вино» поэзии первично, «коньяк» прозы появляется позже. Что касается прозы Юрия Олеси, то и в ироническом ее бытовизме всегда присутствовала невыветрившаяся лирика с привкусом созревающего вина. И начинал он со стихов. Не будем здесь пересказывать страдальческую жизнь писателя, в которой много было того, что называется «в чужом пиру похмелье», много унижений и падений. Но, как сказал один поэт, «люблю я опустившихся людей!» Вопреки всему, Олеся не только не лишился читательской любви, но и у всех сталкивавшихся с ним в жизни вызывал чувство, близкое к поклонению. Его почти всегда видели неряшливым, плохо одетым, небритым, выпившим, но уважения не убавлялось. Самые случайные люди были счастливы, что некогда пожали его руку. А между тем Олеся был в сущности никем — заведомо непишущим писателем. Но ведь именно такого человека Борис Пастернак прочувствованно назвал «братом».

Олеся рано обрел литературную славу (рано, впрочем, и лишился ее). Но понятно, что талантливость «Зависти» оценили все. От товарища Сталина до прочитавших эту повесть в эмиграции Ходасевича и Берберовой. Заметим, что эта заинтересованная оценка кое-что говорит о самих читателях... Еще раньше Луначарский восторгался «Тремя толстяками». Как будто бы багряный отсвет верхарновских «Зорь» упал на эту символистскую революционную сказку. Она стала популярной у советских детей, в том числе у детей партийной элиты. И здесь восхитителен разговор между директором издательства

«Academia» Каменевым Львом Борисовичем и его сыном-школьником, спросившим, а что было после народной победы? Лев Борисович ответил мрачно: «Диктатором стал продавец воздушных шаров!»

Олеся, заявивший, что лет через тридцать его будут читать как «пролетарского писателя», никогда ведь не обзывался быть писателем контрреволюционным. Он и от контактов с властью не уклонялся. Малоизвестный факт: именно Юрий Карлович «зачитывал» обращение сотоварищей к товарищу Сталину на писательском съезде. Но революция, в идеале принятая литератором, невоплотимо далека от многого, творившегося в действительности. И разве мог бы он одобрить кровавую «шпигелевщину» наступившей эпохи, массовое обезличивание! Весь пафос его творчества — преклонение перед умелым трудом, искусством мастера, восхищение артистизмом. Власть «толстяков» была и в самом деле ему ненавистна.

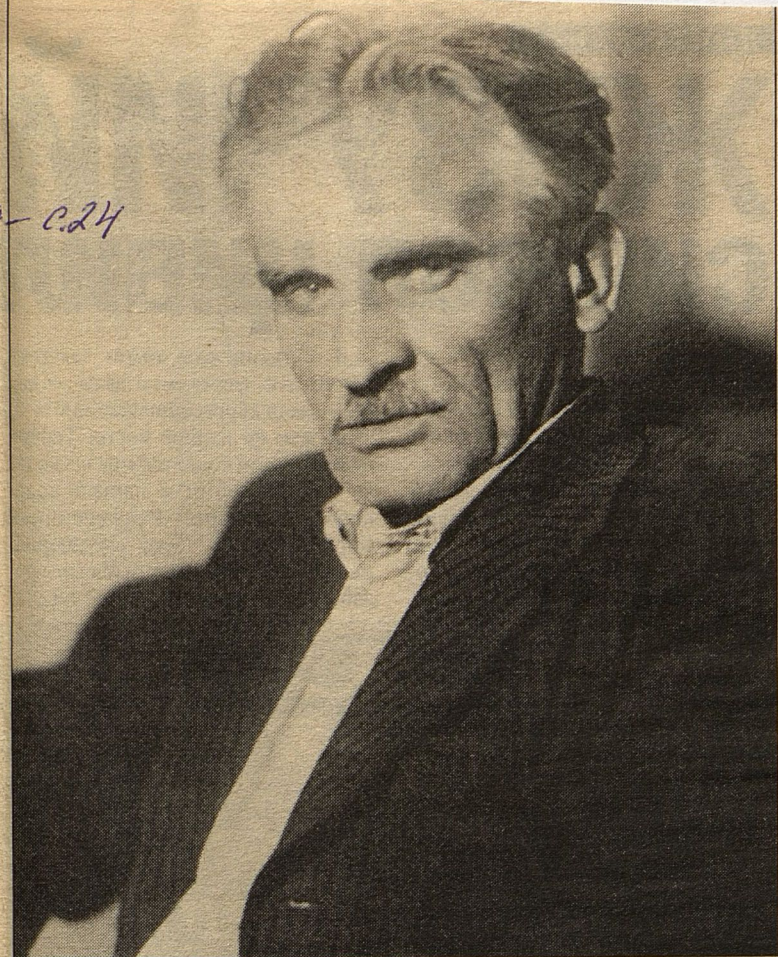
Однажды писатель умер, но над его могилой и над его неумирающими книжками пролетел запоздалый изничтожающий вихрь. Это была холодная пуританская ярость воинствующего (и творчески бесплодного) диссидентства. В лице Аркадия Белинкова покойный писатель обрел судию героически-праведного и поверхностно-неправого. Юрий Карлович был избран как пример интеллигента, капитулировавшего перед советской властью. Но кто же не подписал тогда акта о капитуляции? Только самые сильные, только гении. Да и те несколько прогнулись под неумолимой лавиной...

Разумеется, он не мог себя заставить прославить то, что славить не хотел! Презирал посулы Фадеева, обещавшего «создать все условия». Предпочел задиристое хулиганство, мелкое пиратство на чужих банкетах. Сохранил благородный лик среди нахлынувших харь и образин. Но что до молчания, затянувшегося на десятилетия... Да знаем ли мы, почему внезапно пересыхают эти полноводные родники и отче-

го вдруг снова пробивается струя в пересохшем русле? Переход к новой форме не прост. Иногда для этого нужно разрушить строившееся годами, сокрушить омытую трудовым потом кладку, чтобы попытаться воздвигнуть нечто новое из обломков.

В свои последние годы Олеся избавил себя от необходимости тщательно выстраивать сюжет. Сюжетом стала собственная движущаяся жизнь с ее обидами, впечатлениями и пристрастиями. Теперь он, ощущавший, что всегда «был на кончике луча», вышел в некое пограничье. Еще никогда он не подходил так близко к поэзии и к ее свободе. Части книги «Ни дня без строчки» сложились позже. Сначала это были именно отдельные строчки, и каждая стала самостоятельным художественным произведением. «Такая мука! Боже мой, какая мука! Доходило до того, что я писал в день не больше одной фразы».

Много строчек было о детстве... Александр Блок поразительно написал о событиях 1910—1911 годов. О смерти Комиссаржевской, Врубеля, Толстого, о кризисе символизма, о засухе, деле Бейлиса, о забастовках, явной близости большой войны, убийстве Столыпина. Вступление к поэме «Возмездие» могло бы стать и предисловием к повести о жизни поколения Олеси. Ведь именно эти события вошли в детство Юрия Карловича. Станным образом в сочинении Блока есть и некий польский мотив. Речь идет о рождении ребенка, которому суждено сыграть историческую роль. Почему-то невольно вспоминается мальчик из «Ни дня без строчки». Еще не русский писатель, пока — «маленький поляк». Но что же вышло из Кавалерова? «Вы, сами того не понимая, являетесь носителем исторической миссии... Вы стусок зависти погибающей эпохи». Разумеется, зависть была знакома автору «Зависти». Впрочем, изображению этого чувства он посвятил не только знаменитую повесть. В заметках о зависти сознался, что завидует и Льву Толстому, хотя это — то же, что



завидовать Тихому океану или способности магнитной стрелки отклоняться к северу. Пожалуй, сильнее всего все-таки была иная ревность — к молодости, к будущему. Пастернаковское — «столетий завистью завистлив». Желание жить и творить во всех временах. И если в ранних рассказах есть взволнованность тайной бессмертия, то пришло бескорыстие, наступило подлинное освобождение: «Да здравствует все, что живет вообще — в траве, в пещере, среди камней! Да здравствует мир без меня!»

И при этом — страшная ностальгия по ушедшему и уходящему. Но задавшийся целью одновременно рассказать свою жизнь и пересказать читанное (стихи, книги, научные трактаты) Олеся как бы путешествовал на «машине времени» любимого своего Уэллса. Вся штука в том, что, решительно изменившись, писатель остался собою, его творчество едино. И в нем он — родоначальник «фантастического реализма». Предшественник всего того, что намного позже было так наречено.

«Метафора — мотор формы!» — изрек один монументальный пигмей эстрады. Нет, пожалуй, мне по душе принципиальное мнение Георгия Адамовича: «Стихотворение бывает прекрасно не несмотря на отсутствие блестящих метафор и т.д., — только благодаря отсутствию их». Предполагается, что самые высокие произведения поэзии от метафор освобождаются. Но и это не совсем верно, ведь невероятно сильны метафоры великих поэтов (например, Данте, любимого автора Олеси). Но здесь страшен переизбыток, утомительная стугубая сосредоточенность на технической задаче. Все-таки (и это главное) сравнения «Ключика» (так назван Юрий Карлович в скандальной книге Катаева) подчинены интонации и не являются самоделью, эпитеты акмеистически точны и пронизаны напряженным чувством. А предметный мир необъятен: «... мне приятно думать, что я делаю что-то, что могло бы оставаться для вечности... Что такое вечность, как не метафора».

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ